

КАРЛО КАЛАДЗЕ

Можно долго, увлекательно и вполне безрезультатно спорить о поэзии, о ее таинственном происхождении и еще более таинственном предназначении. Можно даже сомневаться в этой таинственности, можно, наконец, совсем не интересоваться сложной проблематикой и свести ее к литературоведческим, то есть вполне «научным», школьным определениям. Все это повторялось не однажды и будет повторяться в жизни каждого, кто кровно заинтересован в искусстве.

Однако достаточно вплотную соприкоснуться с явлением самого поэта и пристальнее в него всмотреться, — и тогда загадка поэзии сразу проясняется. Она приобретает живые и рельефные очертания: в ней проступает житейская проза. И право же, поэзия ничего не проигрывает от такого близкого знакомства!

Поэт Карло Каладзе представляется мне в этом отношении образцовым примером. Примером разительным по наглядности. Это человек пятидесяти с небольшим лет, среднего роста, плотный, даже полный, сангвинического, общительного темперамента, жизнерадостный, — ни дать ни взять персонаж Рабле! Он любит застольную беседу, затянувшуюся далеко за полночь, иступленно любит все дары земли, всю разноцветную, освещенную как бы изнутри щедрость человеческого полдня.

Но от этого фламандски живописного, жизнелюбивого облика, от живого человека среднего роста и прочих паспортных примет — решительно рукой подать до обуревающей его с юности творческой стихии. Она легко определена. Ибо в лучших, наиболее сильных и характерных своих стихах Карло Каладзе удивительно верен себе, своему лейтмотиву: мажорной боевой трубе. Можно почти наудачу раскрыть его сборники, чтобы сразу наткнуться на этот лейтмотив.

Но мажор Каладзе не бездумный оптимизм, не вакханалия в духе Рубенса, как можно было бы предполагать, а нечто гораздо более серьезное, своеобразное. Жизнь прошла недаром для этого счастливо одаренного сангвиника.

Речь идет о феномене искусства. Откуда оно взялось в человеческой жизни? Как возникло это украшающее нас и неизбежное для нас благо? Почему абхазский горец-охотник, смертельно раненный, вместо того чтобы позвать на помощь, затягивает песню и песней дает знать землякам о своей беде, уже непоправимой. Почему в майский полдень жаворонок взвивается ввысь и там в небесной синеве поет гимн солнцу и гибнет, когда его маленькое сердце не выдержало сладостного упоения и разорвалось? Почему, обугливаясь в каминном огне, сердце тысячелетнего дуба тем самым уподоблено сердцу художника? Для чего существует горная порода, как не затем, чтобы сквозь тысячелетия народной жизни рассказать поколениям о мастерстве ваятеля, резчика на камне, а то и первобытного охотника, высекавшего на скале оленей в неповторимых позах движения? А может быть, и сама природа — это лучшая из всех художниц мира, и она тоже в неисчерпном порыве создает бесчисленные формы соцветий, кристаллов, узоров?..

Я не подбирал специально все эти образы в стихах Каладзе, они сами бросились мне в глаза. Запас их далеко не исчерпан в последнем абзаце, он только разворочен и растревожен. Ведь сюда же, в эту рубрику должны быть отнесены все стихи Каладзе о роскошестве грузинской и абхазской природы, о судьбах излюбленных им горных рек — Иори, Кодори, Ингури, Дзирула, Ксапи, — каждая из них изображена как живое существо, со своей биографией, со своим характером. Все это этюды и наброски, импровизации и прелюдии к одной мощной симфонии, все они говорят об одном: о произвольном творчестве природы. И если попытаться уточнить термин: о мифотворчестве природы как о некоей первоначальной стихии, дающей знать о себе каждому, кто смотрит на природу влюбленными глазами. А именно это и требуется от поэта!

Карло Каладзе последовательно демонстрирует свою верность народному преданию. Если в его ранних стихах это было бесхитростным и добросовестным перенесением в стихи фольклорных мотивов, если когда-то у него Чер-

ное море пело для земли хоровую песню Хасанбегури, то сегодня эта верность приобрела черты своеобразной концепции, если угодно, черты философические.

Задача поэта в том, чтобы утвердить жизненность и живучесть, неизбежность и необходимость сказочных образов. Амირани у Каладзе это не только незапамятно давний, дохристианский миф, общий для многих кавказских народов, не только образ, в котором можно проследить связь с античным мифом и античной культурой, это не только «Прометей Кавказа». Нечто иное. Амირани по-иному входит в мир советского поэта. Следы благородного труда и подвига Амირани существуют рядом с нами. Его огнем гудят горны и домны грузинских металлургов. Он одушевляет сны грузинских школьников о полете к звездам.

Так происходит в творчестве нашего современника своеобразный синтез: поиски первоисточников и корней в явлениях сегодняшней действительности, в труде и борьбе наших современников. Поиски в прошлом будущего. Они продиктованы живым чувством родной истории, неизбежным для настоящего поэта. Работа плодотворная. Хотя я могу представить и усмешку читателя, и косой его взгляд: дескать, пужна ли ему такая архаика, не туманит ли она его зорких глаз?

Так нет же! Заранее отведем эти недоумения! Дело в том, что наша приверженность реализму сыграла с искусством — и с литературой, и с театром, и с изобразительными искусствами — очень недобрую шутку. Наш реализм часто подменялся ползучей эмпирикой, плоской констатацией факта, который и без того виден невооруженным глазом, из которого (из факта, а не из глаза!) улетучивалась душа. Неуместно анализировать здесь этот процесс, уточнять, где, как и почему он происходил, — ведь он у многих в памяти.

Карло Каладзе давно уже вышел из того возраста, когда сказка была его единственным чтением, наверняка прочел все сорок тысяч томов материалистической энциклопедии, все же он смело утверждает:

Так сказка людям говорит,
А сказке надо верить.

Поэт не только имеет право отстаивать и защищать сказку. По сути дела, это его долг, а не право. На то

он и поэт. Он не собирается вторгаться в лаборатории точных наук. Ему не надо разбивать колбы химиков и рефракторы астрономов. Он не враждебен этой драгоценной аппаратуре. Но пускай его живое воображение служит необходимым дополнительным инструментом в созидательной работе человечества. Сказка лучшая подруга таблицы логарифмов. Карло Каладзе весьма своевременно напоминает о том, что каждая гипотеза ученого была когда-то сказкой.

...А я помню этого поэта едва ли не двадцатилетним, стройным юношей, когда он числился в «начинающих». Это была середина тридцатых годов. В центре круглого стола грузинской поэзии возвышались великоленные фигуры «голуборожцев» — Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Георгий Леонидзе, Валериан Гаприндашвили. Они тогда были тоже достаточно молоды. Их благородный пафос обозначал возрождение и утверждение национальной традиции. Уважение к седой старине органически сочеталось у них с влюбленностью в новую, растущую на глазах социалистическую явь, в рождение ЗАГЭСа, во впервые возникшую тогда в Грузии металлургию, в ее заново расцветающее сельское хозяйство.

Отголоски пройденной голуборожцами символистской школы, их приверженность к сложной метафоре, к античному миру, пресловутая их «книжность» могли отпугивать критиков, но, по сути дела, ничему не могли помешать. Это была поэзия чистая и свежая, как родниковая вода. Раскаты голосов голуборожцев уже были слышны далеко за пределами Закавказья.

В те времена Карло Каладзе — равно как Симон Чиковани, Иракий Абашидзе, Константин Лордкипанидзе — являлся антагонистом голуборожцев. Они были новой волной в поэзии. Они были значительно ближе к жизни, чем старшие товарищи, острее и непосредственнее воспринимали любую новизну. Они и сами были такой новизной. У них не было созерцательности голуборожцев, но было в избытке нечто обратное: боевой задор комсомольского воспитания, привычка к обнаженно публицистической речи, учеба у Маяковского.

Ранняя поэма Каладзе «Учардиони» с резкой яростью, открыто и страстно повествовала о классовой борьбе в

грузинской деревне в годы коллективизации. С такой же резкостью она была осуждена тогда критикой. Едва ли эта критика была дальновидна и справедлива! Я сужу об этом по одному отрывку из «Учардиони», переведенному Сергеем Спасским. Фигура комсомольца-героя Гульды, погибшего от рук кулачья, обрисована сурово, просто. В скором времени поэт назвал именем героя только что родившегося у него сына, ставшего теперь талантливым скульптором, Гульдой Каладзе.

Мне кажется, что эта поэма является самым значительным этапом в идейном развитии Карло Каладзе. Но она останется и как поэтический документ эпохи. Мне кажется, что наш читатель — и в Грузии и в России одинаково — еще должен вернуться к этому произведению, многое почерпнуть в нем и заново оценить.

С той поры прошли многие и долгие годы. Годы мира и годы войны. Многие ушли навсегда с той поры, ушли молодыми. Сегодня Карло Каладзе намного старше, чем были тогда голуборожцы, чем был тогда пишущий эти строки, принадлежащий к тому же поколению, что голуборожцы.

Последнее обстоятельство дает мне право на нечто неизбежное: я осмеливаюсь говорить от их имени.

Снова Голубой Рог грузинской лирики полон до краев все тем же благородным и веселящим душу вином. Когда прикасается к нему наш милый младший товарищ Каладзе, он осущает этот рог единым духом — по праву сильного и равного.

1965